

Глеб Иванович Успенский

# Захотел быть умней отца!



Через пень-колоду

Глеб Успенский

**Захотел быть умней отца!**

«Public Domain»

1885

## **Успенский Г. И.**

Захотел быть умней отца! / Г. И. Успенский — «Public Domain», 1885 — (Через пень-колоду)

«...Отобразая типические явления эпохи реакции, Успенский дал в своем очерке яркую зарисовку облика деревенского кляузника «мужицко-чиновничьего типа», выступающего в защиту старых норм жизни. Родственный тип, в том же 1885 году, был создан и А. Чеховым в образе унтера Пришибеева. Людям, цепляющимся за старину, Успенский противопоставляет новые силы, появившиеся в деревне...»

# Содержание

1	5
2	8
Конец ознакомительного фрагмента.	10

# Глеб Иванович Успенский

## Захотел быть умней отца!

### 1

– Там, на кухне, вас спрашивает какой-то мужчина, – сказала мне как-то на днях работница, появляясь в моей рабочей комнате. – Вот какую-то бумагу велел вам прочитать... Не очень молодой уж... Даже уж довольно пожилой мужчина.

Работница вручила мне бумагу и ушла.

Очень и очень была мне знакома эта «бумага», засаленная продолжительным пребыванием за пазухой неведомо откуда появляющегося «прохожего» человека, случайного моего посетителя, и не без некоторого неприятного ощущения взял я ее в руки: много, очень много перечитал я этих бумаг с тех пор, как живу в деревне, и давно уже отвык чувствовать любопытство к произведениям такого рода; эти желтые чернила, от которых слепнут глаза, и почти всегда невероятно исковерканный язык, над пониманием которого надобно в буквальном смысле слова «ломать» голову, а главное, всегда почти кляузное содержание этой «бумаги», – все это развило во мне какое-то неприязненное, даже болезненное ощущение, ощущение боли в висках всякий раз, когда какой-нибудь случайный посетитель, желая поговорить со мной, посылал вперед себя эту засаленную бумагу.

«Кляуза! Непременно какая-нибудь ехидная гадость!» – чувствуется мне всякий раз, когда я увижу этот протягиваемый мне работницей засаленный лоскут. Горький опыт убедил меня, что хороший, дельный, *порядочный* мужик не пойдет ко мне за разговором; он делает свое дело – некогда ему разговаривать, да и нечего мне ему сказать: ничего я в *его* делах не понимаю и не знаю. Горький опыт убедил меня еще и в том, что хороший, порядочный мужик, желающий подумать, а по временам и поговорить «по-хорошему» и о хорошем «вообще», не пойдет ко мне не потому только, чтобы он был уверен, что и по этой части, то есть по части хорошего разговора, я так же мало понимаю, как мало понимаю в его крестьянских делах; нет, он знает, что по части «хорошего разговора» я могу быть ему полезен, что у меня книжки, что я в газетах «вычитываю обо всем», и что вообще нам с ним есть много о чем поговорить по совести; но, зная все это, он все-таки не пойдет ко мне, потому что чувствует бесплодность таких разговоров, чувствует, что не те времена<sup>1</sup>, чтобы *дозволять* себе даже мечтать по-хорошему, что теперь времена стоят рыковские, не светлые, не настоящие – времена, которые, несомненно, пройдут, но с которыми «по-хорошему» ничего не поделаешь. Можно только сторониться от них, «не касаться» этой рыковщины, где бы она ни проявлялась в деревенской жизни: в волостном суде, на сходе, в кулацком трактире или на кулацкой попойке; и вот почему не идет ко мне порядочный мужик для хорошего разговора: рыковщина вдвойне страшна здесь, в деревне, где она груба, топорна, бесчеловечна и ничем не прикрашена. Рыковщина страшна как систематическое истребление во всех и в каждом малейшего проявления чего-нибудь божеского, совестливого, умного, справедливого. Рыковщина не только банковый грабеж, *а умышленное истребление малейших благородных и справедливых побуждений в человеке*. Последние двадцать пять лет тем и ужасны, что дело о правде и неправде стояло в таком именно, а не ином положении. Неправду слишком берегли, слишком холили, дали ей полную волю, а правду слишком жестоко, слишком неумолимо истребляли в малейших ее проявлениях и положительно на всех путях. Если рыковщина городов не пускала в банк порядочного человека, чтобы он не помешал делать зло на десятки миллионов, то рыковщина деревень не пускала его ни в

---

<sup>1</sup> Слова эти относятся к недавнему прошлому. (Прим. автора.)

ссудо-сберегательное товарищество с грошевым оборотом, ни в волостное правление, ни в суд, ни в школу. Все, что в течение этих двадцати пяти лет имело стремление в самом деле делать добро, приносить общественную пользу, все, что хотело делать по правде, совести и чести, на каких бы отдаленнейших и глухих местах эти попытки ни осуществлялись и в каких бы микроскопических размерах ни проявлялись они, – все это зорко, необычайно зорко, по-звериному видела, носом чуюла рыковщина и стремилась истребить. Светлое сознание, ум, малейшие проявления доброй воли, прямоты совести, словом, малейшее проявление *души* – все это претило, бесновало зоологический инстинкт рыковщины, которая не церемонилась и пускала в ход всякие средства: «всемогуший бог», «с божиею помощью», «помощь бедным и нищим», «расширение производства», «страдание сердца», «шантаж и подрыв доверия» и т. д., словом – все, что может заставить верить, что на кровати лежит бабушка, а не волк в бабушкином чепчике. И для чего все это? Для того же, для чего и волку нужно вечно рвать овец и вечно быть голодным; в этом рванье, в этом бесплоднейшем истреблении все содержание бессмысленной зоологической рыковщины – рванье, грабеж для рванья и грабежа; разворовав миллионы, рыковщина не научит даже детей своих читать и писать; у ней нет фантазии истратить эти миллионы; она может только хватать их, воровать и ввергать в помойную яму... Ни замков она не выстроит, ни морей не оживит, ни гор не коснется и ничего ни из каких сокровищ не извлечет. Чтобы быть *хорошим эгоистом*, нужна продолжительная наследственность, нужна порода, а здесь наследственность фантазии хватает только до паюсной икры и чистосердечного приношения городничему: на миллион уже нехватает этой фантазии; но, несмотря на то, что фантазии хватает только на полтинник, этому зоологическому типу, мужику без мужицкого труда, нельзя остановиться в грабеже и в зле, нет других форм для проявления самого себя, не угнетенного мужицким трудом, а освобожденного от него... Волка сколько ни корми, как ни ухаживай за ним, но он уйдет в лес голодать, выть и рвать всякую падаль.

Теперь благодаря суду стало уж ясно, что такое эта рыковщина и какая у нее суть нравственная, нравственная подоплека, облекаемая, смотря по обстоятельствам, как заячья шкура, то якобы патриотизмом, то смирением, то волчьим оскаливанием зубов, – теперь ясно, что рыковщина есть обман по отношению к существующему порядку.

Рыковщина отучила нас всех – и мужиков и не мужиков – верить и думать даже о том, что есть человек, душа, совесть, стыд, обязанность к ближнему; отучила верить, что не только нужно, а даже можно думать и делать хорошо; как дважды два доказала, что по-хорошему поступать – страшно, опасно и не время. Вот почему и хороший, честный, порядочный мужик притаился, приумолк, предоставив волю деревенской рыковщине во образе грабительства, кулачества и кабачества. Порядочный крестьянин верит, что это не навсегда, что у торжествующей рыковщины будет конец – обьестся и лопнет, и ничего, кроме смрада, от нее не останется... А пока это еще будет, он идет мимо меня и не заходит: не к чему разговаривать и расспрашивать – «еще не отъелись, чавкают еще! – думает он, – пушай, апосля приду!...» Раз два три, правда, заходили ко мне такие хорошие мужики – спросить, скоро ли откроется банк крестьянский, да какие правила насчет лесных торгов, и больше, кажется, не было у меня хороших посещений... А вот кляузник идет! Чует он носом, что теперешний образованный, грамотный человек, который газету читает, должен понимать, где раки зимуют... Он знает старую, заскоруюзлую клязу, произошел, и новую, деревенскую знает, – так вот нет ли, думает, еще какого-нибудь иного нового манера, чтобы оформить по-новому заскоруюзлую клязу, выскочить чрез и сквозь все древние и новые клязы еще выше, под самый, так сказать, перемет неправды?... Не виню я этих тварей за такое мнение о барине, – барин, к несчастью, очень и очень мало заявляет себя перед мужиком с хорошей стороны, – но все-таки тип деревенского кляузника для меня в такой степени противен, что одно появление бумаги, в которой я привык видеть непременно вступление в обширнейший кляузный разговор, один запах этого лоскута, валявшегося за пазухой кляузника вместе с кучей других кляузных «скопий» и документов, этот

большую частью умышленно запутанный и омерзительный язык, эти бледные каракули, запятнанные чернилами, маслом и грязью, – все это давно уж стало возбуждать во мне физическое отвращение, боль головы, груди... Вот почему я, по уходе работницы, принесшей мне бумагу, не мог не раскаиваться в своей неосторожности: зачем я взял эту гадость? Но так как бумага была уже в руках, то волей-неволей я прочитал ее. Вот что было нацарапано на ней:

«18\*\* году двадцать пятого числа марта месяца бывши я крестьянин сопсвеник деревни Кубышки Чихалковской волости Купреян Муравушкин бывши во храме святыя Софии в Нове граде при служении соборне имел мысли о себе самом и о Расеи и о прочем и тогда впав в состояние слез и даже до обморока в бесчувствии на весь храм произносил необыкновенные слова горести весь в слезах и не могу даже остановиться по случаю вдохновения до изнеможения и язык мой стало тянуть взад к затылку и упал в беспамятстве. Иерей же Иоан Лисицын засвидетельствовал с течением времени выздоровления, о дивных словах кои были мною возвещены вдохновением, и золотыми буквами на поучение заблудшему народу изъяслял опубликовать, но я даже не могу найти и вспомнить тех слов. И было со мною в течение времени шестьдесят восемь лет необыкновенных вдохновений три: первое – на съезде дворянства, второе – в поучении сыну моему художнику Симеону Муравушкину, а третье во храме св. Софии о чем покорнейше доношу вашему сиятельству, как даровано мне от бога вдохновение, то покорнейше прошу не оставить без внимания. Кр. с. Кубышки» и т. д.

Прочитав эту тарабарщину, я все-таки чувствовал, что есть тут какая-то гадость или вообще что-то старое, уродливое, нелепое, хотя прямой, видимой кляузы и нет. «Что ему нужно?» – думалось мне. Но пока я раздумывал, работница опять явилась в моей комнате и со словами: «Пущать, что ли, его?» впустила в комнату незнакомого посетителя, не дожидаясь моего ответа.

## 2

Вошел длинный, сухощавый пожилой человек с смиренным выражением какого-то тусклого лица, с гусиными маленькими красноватыми глазами, и «первым долгом» с благоговением помолился на образ; в его опрятненьком, крытом черным сукном тулупчике, тщательно подпоясанном кушаком, в его манере держать себя так, чтобы вы чувствовали, что он не просто пришел к вам, а «предстал перед вами», опять мелькнуло мне что-то неприязненное, не просто крестьянское, а опять-таки кляузное и ехидное. При ближайшем знакомстве все эти подозрения мои вполне подтвердились, хотя ехидство и кляузничество этого человека были особенные, имели не личный характер, а, так сказать, государственный: он вообще кляузничал на существующий порядок во имя благоговения пред старым, в котором для него все свято и совершенно.

– Осмелюсь доложить вашему высокородию, что я с тысяча восемьсот сорок шестого года и до реформы, и даже после реформы, завсегда был на первом счету у высшего начальства. Я живу при третьем императоре и, благодарение создателю, всегда был примерного поведения! И господа управляющие палат, окружные начальники, а впоследствии времени мировые посредники завсегда становили меня на первый план. Потому я как от бога награжден даром ума и совести, то я не послаблял ни в едином мгновении... У меня подати, сборы, повинности – ни боже мой, чтобы запоздать или что – никогда! Я себя не помнил, не знал, какой я есть человек сам по себе: рюмки водки не выпил, но стоял, как сторож на часах, при начальнике... Этого безобразия не было, как теперь! Я, старшина, или будучи головой, встану до свету, – вижу, кто что делает... кто в кабак идет, кто на работу – и не потерплю... Я знаю, на какие деньги у кого что куплено. «Это откуда у тебя салоп?» – «Тятенька купил». И этого довольно. Я знаю, на какие деньги куплен салоп; он, тятенька, что-нибудь продал в хозяйстве, а этого я не попусти. Я разыскиваю его, допрашиваю, и ежели вижу, что точно продал что-либо хозяйственное, то немедленно же и жестоко накажу, не взирая; салоп сниму и вновь обращу его в лошадь или корову и не дам (это слово он сказал с такой энергией, что затрясся весь), не дам своевольничать, не дозволю!

При последних словах он так воодушевился, что даже вспотел и отер лицо синим набойчатым платком.

– У меня по волости вот этакой соринки не было непорядку!.. За версту кланялись и шапку ломали, – не то что теперь дозволяется всякое непочтение и нахальство! Я имею две медали и почетный кафтан, и даже жена моя удостоилась получить почетный шугай от высшего начальства за примерное домашнее поведение и строгость, что ни малейше ни в чем даже не послабляла!.. И когда началась реформа, тогда даже начальник губернии, при личной бытности в моем доме, взявши меня вот за это самое место (гость осторожно взял меня за плечо) – «Только, говорит, на тебя и есть надежда; поддерживай господ, не давай воли мужикам; ты, говорит, понимаешь, что есть бог, который установил устав и правила, – так ты и не послабляй...» Так я восемь лет, почитай, не спал как следует и восьми ночей, потому что началось развращение, пьянство, своевольство... Бога никто не признавал, не почитал, и никто об этом внушений не делал; бывало, со всех концов кажинный божий день идут бумаги: «такие-то мужики не идут ко мне на работу»; «такой-то сделал грубость, обругал моего приказчика»; «сего числа у меня украли двух кохинхинских кур и цыпленка голландского, почему прошу взыскать по всей строгости закона». Не пимши, не емши, по горячим следам во мгновение ока везде был и порядок утверждал бескорыстно... Сам в помои руку запущу, вытащу оттедова куриные ноги и головы, тотчас обличу, разыщу – кто был, кто ел, кто воровал, и через два часа у меня готова расправа. Ежели бы не я, так что бы тут было! А будет еще хуже, идут времена зловещие, народишко распустивши, не знает правил, забыл бога и пользуется своим неува-



жением к начальникам! Сменили меня своею властью, а предпочитают пьяницу, но господь ниспровергнет их и в ничтожество произведет!.. Когда мировой посредник, его сиятельство граф Зайцев-Волчищев, оставлял пост, то рыдал и обливался слезами: «Без тебя, Муравушкин, должны прекратиться порядки и строгость, и народ, забывши бога, должен впасть в разврат». Оно теперь и у вашего высокого благородия вполне на виду... И я сам претерпел со слезами от сына моего родного... Вот извольте почитать... Здесь все описано вполне, для опубликования по всей России.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.